

Пушкин родился 26 мая 1799 г.[8] в Москве в доме Скворцова на Немецкой улице в семье отставного майора, чиновника Московского комиссариата Сергея Львовича Пушкина и жены его Надежды Осиповны (урожденной Ганнибал). Кроме него в семье были старшая сестра Ольга и три младших брата. Пушкины были родовиты. В автобиографических заметках Пушкин писал: «Мы ведем род свой от прусского выходца Радши или Рачи, выехавшего в Россию во времена княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шереметевы и Товарковы». Родство со многими фамилиями коренного русского барства делало Пушкиных тесно связанными с миром и бытом той, «допожарной» (т. е. до пожара 1812 г.) Москвы, в которой говорили: «Родство люби счесть и воздай ему честь» — и: «Кто своего родства не уважает, тот себя самого унижает, а кто родных своих стыдится, тот чрез это сам срамится».

«Родословная матери моей еще любопытнее, — продолжал Пушкин. — Дед ее был негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из серая, где содержался он аманатом (заложником. — Ю. Л.), и отослал его Петру Первому...». К концу XVIII в. Ганнибалы уже тесно переплелись кровными связями с русскими дворянскими родами — породнились с Ржевскими, Бутурлиными, Черкасскими, Пушкиными. Отец и мать поэта были дальние родственники.

Пушкины были весьма небогаты. Бесхозяйственные и недовитые, они всю жизнь находились на грани разорения, в дальнейшем неизменно урезали материальную помощь сыну, а в последние годы его жизни и обременяли поэта своими долгами. У Сергея Львовича Пушкина барская безалаберность сочеталась с болезненной скупостью. Друг А. С. Пушкина П. А. Вяземский сохранил в своих записках сценку: «Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли (сказал Лев) так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» — «Извините, сударь (с чувством возразил отец), не двадцать, а тридцать пять копеек»».

Семья принадлежала к образованной части московского общества. Дядя Пушкина Василий Львович Пушкин был известным поэтом, в доме бывали московские литераторы. Еще ребенком Пушкин увидел Карамзина, тогдашнего главу молодой русской литературы, слушал разговоры на литературные темы.

Воспитание детей, которому родители не придавали большого значения, было беспорядочным. Из домашнего обучения Пушкин вынес лишь прекрасное знание французского языка, а в отцовской библиотеке пристрастился к чтению (тоже на французском языке).

Наиболее разительной чертой пушкинского детства следует признать то, как мало и редко он вспоминал эти годы в дальнейшем. В жизни дворянского ребенка Дом — это целый мир, полный интимной прелести, преданий, сокровенных воспоминаний, нити от которых тянулись на всю дальнейшую жизнь.

Но Пушкин легко покинул стены родного дома и ни разу в стихах не упомянул ни матери, ни отца. Упоминания же дяди Василия Львовича скоро стали откровенно ироническими. И при этом он не был лишен родственных чувств: брата и сестру он нежно любил всю жизнь, самоотверженно им помогал, сам находясь в стесненных материальных обстоятельствах, неизменно платил безо всякого ропота немалые долги брата Левушки, которые тот делал по-отцовски беспечно и бессовестно переваливал на Пушкина. Да и к родителям он проявлял больше внимания, чем они к нему. Тем более бросается в глаза, что, когда в дальнейшем Пушкин хотел оглянуться на начало своей жизни, он неизменно вспоминал только Лицей — детство он вычеркнул из своей жизни. Он был человек без детства.

А когда внутреннее развитие подвело Пушкина к идее Дома, поэзии своего угла, то это оказался совсем не тот дом (или не те дома), в которых он проводил дни детства. Домом с большой буквы стал дом в Михайловском, дом предков, с которым поэт лично был связан юношескими воспоминаниями 1817 г. и годами ссылки, а не памятью детства. И под окном этого дома сидела не мать поэта, а его крепостная «мама» Арина Родионовна.

Детство, однако, — слишком важный этап в самосознании человека, чтобы его можно было бы вычеркнуть, ничем не заменив. Заменой мира детства, мира, к которому человек, как правило, обращается всю жизнь как к источнику дорогих воспоминаний, мира, в котором он узнает, что доброта, сочувствие и понимание — норма, а зло и одиночество — уродливое от нее уклонение, для Пушкина стал **Лицей**. Представление о Лицее как о родном доме, о лицейских учителях как старших, а о лицеистах как товарищах, братьях окончательно оформилось в сознании поэта в середине 1820-х гг., когда реальные лицейские воспоминания уже слились в картину сравнительно далекого прошлого, а гонения, ссылки, клевета, преследовавшие поэта, заставили его искать опору в идиллических воспоминаниях. В 1825 г. он писал:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.

Но сложившийся в эти годы в сознании Пушкина идеализированный образ Лицея во многом отличался от документальной реальности.

Лицей был учебным заведением, повторившим в миниатюре судьбу и характер многих реформ и начинаний «дней alexсандровых прекрасного начала»: блестящие обещания, широкие замыслы при полной непродуманности общих задач, целей и плана. Размещению и внешнему распорядку нового учебного заведения уделялось много внимания, вопросы формы лицейстов обсуждались самим императором. Однако план преподавания был не продуман, состав профессоров — случаен, большинство из них не отвечало по своей подготовке и педагогическому опыту даже требованиям хорошей гимназии. А Лицей давал выпускникам права окончивших высшее учебное заведение. Не было ясно определено и будущее лицейстов. По первоначальному плану, в Лицее должны были воспитываться также младшие братья Александра I — Николай и Михаил.

В Лицее великие князья должны были воспитываться в кругу сверстников, в изоляции от двора. Здесь им были бы внушены представления, более соответствующие их будущему положению, чем «крики, угрозы» и требование «от людей невозможного», склонности к чему они начали проявлять очень рано. Если бы этот план осуществился, Пушкин и Николай I оказались бы школьными товарищами (Николай Павлович был всего на три года старше Пушкина). Соответственно этому же плану, остальные лицейсты предназначались к высокой государственной карьере.

Замыслы эти, видимо, вызвали противодействие имп. Марии Федоровны.

Для Лицея в изменении его статуса была и выгодная сторона — хотя ослабление интереса двора к этому учебному заведению влекло за собой понижение его престижа, а будущее лицейстов перестало рисоваться в первоначальном заманчивом виде, зато вмешательство придворных кругов в жизнь Лицея стало менее заметным.

Лицей помещался в Царском Селе — летней императорской резиденции, во флигеле Екатерининского дворца. Уже само местоположение делало его как бы придворным учебным заведением. Однако, видимо, не без воздействия Сперанского, ненавидевшего придворные круги и стремившегося максимально ограничить их политическую роль в государстве и влияние на императора, первый директор Лицея В. Ф. Малиновский пытался оградить свое учебное заведение от влияния двора путем строгой замкнутости: Лицей изолировали от окружающей жизни,

воспитанников выпускали за пределы его стен крайне неохотно и лишь в особых случаях, посещения родственников ограничивались. Лицейская изоляция вызвала в поэзии Пушкина тех лет образы монастыря, иноческой жизни, искушений, которым подвергается монах со стороны беса. С этим же связано и стремление вырваться из заточения. Поэтическое любование лицейскими годами, как было сказано выше, пришло позднее — во время же пребывания в Лицее господствующим настроением Пушкина было ожидание его окончания.

Конечно, лекции лицейских преподавателей, среди которых были прогрессивные и хорошо подготовленные профессора (например, А. П. Куницын, А. И. Галич), не прошли для Пушкина бесследно, хотя он и не числился среди примерных учеников.

Программа занятий в Лицее была обширной. Первые три года посвящались изучению языков «русского, латинского, французского, немецкого», — математики (в объеме гимназии), словесности и риторике, истории, географии, танцам, фехтованию, верховой езде и плаванию. На старших курсах занятия велись без строгой программы — утвержденный устав определял лишь науки, подлежащие изучению. Предусматривались занятия по разделам нравственных, физических, математических, исторических наук, словесности и по языкам. Разумеется, обширный план при неопределенности программ и требований, неопытности педагогов приводил к поверхностным знаниям учащихся. Пушкин имел основания жаловаться в письме брату в ноябре 1824 г на «недостатки проклятого своего воспитания». Однако в лицейских занятиях была и бесспорная положительная сторона: это был тот «лицейский дух», который на всю жизнь запомнился лицеистам первого — «пушкинского» — выпуска и который очень скоро сделался темой многочисленных доносов. Именно этот «дух» позже старательно выбивал из Лицея Николай I.

Немногочисленность учащихся, молодость ряда профессоров, гуманный характер их педагогических идей, ориентированный — по крайней мере, у лучшей части их — на внимание и уважение к личности учеников, то, что в Лицее в отличие от других учебных заведений не было телесных наказаний и среди лицеистов поощрялся дух чести и товарищества, наконец, то, что это был первый выпуск — предмет любви и внимания, — все это создавало особую атмосферу. Ряд профессоров не был чужд либеральных идей и в дальнейшем сделался жертвой гонений (Куницын, Галич). Лекции их оказывали благотворное воздействие на слушателей. Так, хотя Пушкин имел весьма невысокие оценки по предметам Куницына, тот факт, что одна из глав его не дошедшего до нас романа «Фатам, или Разум человеческий» называлась «Право естественное», говорит сам за себя: Куницын читал лицеистам «Естественное право» — дисциплину, посвященную изучению «природных» прав отдельной человеческой личности. Само преподавание такого предмета было данью либеральным веяниям, и в дальнейшем он был из программ русских университетов изгнан. Преподаватели, подобные Куницыну, и директор Малиновский действовали, однако, главным образом, не лекциями (Куницын не обладал даром увлекательной речи), а собственным человеческим примером, показывая образцы гордой независимости и «спартанской строгости» личного поведения. Дух независимости, уважения к собственному достоинству культивировался и среди лицеистов. Кроме передовых идей они усваивали определенный тип поведения: отвращение к холопству и раболепному чиновничеству, независимость суждений и поступков.

Основное, чем был отмечен Лицей в жизни Пушкина, заключалось в том, что здесь он почувствовал себя Поэтом. В 1830 г Пушкин писал «начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени».

В Лицее ощущалась сильная тяга к литературным занятиям, которая поощрялась всем стилем преподавания. Выходили рукописные журналы: «Лицейский мудрец», «Неопытное перо», «Для удовольствия и пользы» и др. Поэтическим лидером Лицея, по крайней мере в первые годы, был Илличевский.

Наиболее тесными были дружеские связи Пушкина с Дельвигом, Пущиным, Малиновским и Кюхельбекером. Это была дружба на всю жизнь, оставившая глубокий след в душе Пушкина. Но и здесь не все было просто. Политические интересы лицеистов зрели, у них складывались сознательные свободолобивые убеждения. Потянулись нити из Лицея к возникшему движению декабристов: Пущин, Дельвиг, Кюхельбекер и Вольховский вошли в «Священную артель» Александра Муравьева и Ивана Бурцева. Пушкин приглашения участвовать не получил. Более того, друзья скрыли от него свое участие.

В дальнейшем, когда Пушкин смотрел на лицейские годы с высоты прожитых лет, все сглаживалось. Потребность в дружбе «исправляла» память. Именно после разлуки, когда Лицей был за спиной, воспоминания оказались цементом, который с годами все крепче связывал «лицейский круг». Братство не слабело, а укреплялось. Лицей становился в сознании Пушкина идеальным царством дружбы, а лицейские друзья — идеальной аудиторией его поэзии.

Нелюбимый ребенок в родной семье, равно и неравномерно развивающийся, Пушкин-юноша, видимо, был глубоко неуверен в себе. Это вызывало браваду, молодечество, стремление первенствовать. Дома его считали увальнем — он начал выше всего ставить физическую ловкость, силу, умение постоять за себя. Тот же Пущин с недоумением, не ослабевшим почти за полвека, отделявшие первую встречу с Пушкиным от времени написания записок, вспоминал, что Пушкин, который значительно опередил по начитанности и знаниям своих одноклассников, менее всего был склонен этим тщеславиться и даже ценить: «Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие — бывали столкновения, очень неловкие».

Все мемуаристы единодушны в описании и оценке огромного впечатления, которое произвели на Лицей и лицеистов события 1812 года. Сошлемся снова на Пущина: «Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготавлилась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея...». Впечатления этих лет, конечно, определили гражданский пафос и раннее свободолюбие многих лицеистов, включая и Пушкина. Однако события действовали на молодые умы еще в одном отношении: История со страниц учебников сама явилась на лицейский порог. Для того чтобы обессмертить свое имя и передать его потомкам, уже не нужно было родиться в баснословные времена или принадлежать к семье коронованных особ. Не только «муж судеб», сын мелкого корсиканского дворянина Наполеон Бонапарте, сделавшийся императором Франции и перекраивавший карту Европы, но и любой из молодых гвардейских офицеров, проходивших мимо ворот Лицея, чтобы пасть под Бородино, Лейпцигом или на высотах Монмартра, был «человеком истории». В одном из своих последних стихотворений (на 19 октября 1836 г.) Пушкин писал:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались.
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... (III, 432)

Сдержанная стилистика зрелого Пушкина чужда поэтических украшений. «Завидуя тому, кто умирать / Шел мимо нас» — не риторическая фигура, а точное описание психологических переживаний лицеистов. Героическая смерть, переходящая в историческое бессмертие, не казалась страшной — она была прекрасна. Тем сильнее переживалась обида, нанесенная возрастом. Л. Н. Толстой глубоко передал эти переживания словами Пети Ростова в «Войне и мире»: «...все равно я не могу ничему учиться теперь, когда... — Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда отечество в опасности».

Поэзия была ответом на все. Она становилась оправданием в собственных глазах и обещанием бессмертия. Именно бессмертия — такова была единственная мерка, которой мерилось достоинство стихов в пушкинском кружке. Пушкину было шестнадцать лет, когда Державин рукоположил его в поэты, а Дельвиг в сентябрьском номере «Российского музеума» за 1815 г. приветствовал его — автора всего лишь нескольких опубликованных стихотворений — стихами:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного

Аполлон на Олимп торжествующий.

Глубокой привязанности к родителям у Пушкина не было. Однако потребность в такой привязанности, видимо, была исключительно сильна. Это наложило отпечаток на отношения Пушкина с людьми старше его по возрасту. С одной стороны, он в любую минуту был готов взбунтоваться против авторитета, снисходительность или покровительство старших были ему невыносимы. С другой, он тянулся к ним, жаждал их внимания, признание с их стороны было ему необходимо. Он хотел дружбы с ними. Культ Дружбы был неотделим от литературы предромантизма: Шиллер и Карамзин, Руссо и Батюшков создали настоящую «мифологию» дружбы. Однако литературная традиция давала лишь слово, подсказывала формы, в них отливалась глубоко личная потребность компенсировать ту нехватку душевных связей, которую ощущал юноша, не любивший вспоминать о своем детстве и семье.

Дружеские связи с лицеистами, как мы говорили, завязывались трудно. Тем более заметна тяга Пушкина к людям «взрослого» мира: к дружбе с Чаадаевым и Кавериным, арзамасцами и Карамзиным, Тургеневыми и Ф. Глинкой.

Дружеские связи лицейского периода — с царскосельскими гусарами, с литераторами — арзамасцами — молодыми писателями, объединявшимися вокруг знамен «нового слога» Карамзина и романтизма Жуковского, — с семьей Карамзина — давали исключительно много для формирования ума и взглядов Пушкина, его общественной и литературной позиции. Но они влияли и на характер. В гусарском кружке Пушкин мог чувствовать себя взрослым, у Карамзина — вдохнуть воздух семьи, домашнего уюта — того, чего сам он никогда не знал у себя дома. Тот, кому приходилось наблюдать людей, умирающих от ран в сознании, знает, с какой неожиданной силой вспыхивают у них воспоминания далекого и, казалось бы, прочно забытого детства. Пушкин не вспомнил недавно скончавшейся матери, не позвал ни отца, ни брата, ни сестры. Он вспомнил Лицей: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать». «Карамзина? Тут ли Карамзина?» — спросил Пушкин. Он возвращался в мир лицейской жизни.

Лицей заменил Пушкину детство. Лицей был закончен — детство прошло. Началась жизнь. Эпизод встречи уходящего и начинающего поэтов на одном из переводных экзаменов в Лицее вряд ли произвел ошеломляющее впечатление на современников, поглощенных рутинной ежедневных служебных, политических, придворных забот. Только тесный круг друзей, начинавших уже ценить дарование молодого поэта, мог почувствовать его значение. Но для самого Пушкина это было одно из важнейших событий жизни. Он чувствовал себя как паж получивший посвящение в рыцарский сан: «Наконец вызвали меня. Я прочел мои Воспоминания в Ц <арском> С <еле>, стоя в двух шагах от Державина Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

Вторым посвящением было принятие Пушкина в «Арзамас» — неофициальное литературное общество, объединявшее молодых и задорных литераторов, которые высмеивали на своих, имевших шуточный характер, заседаниях литературных староверов. Члены «Арзамаса» были поклонниками Карамзина, к Державину, в доме которого торжественно собирались литераторы-архаисты, относились иронически. Пушкин был принят в «Арзамас» осенью 1817 г., в момент, когда это общество находилось в состоянии внутреннего разлада. Для Пушкина это принятие имело глубокий смысл, его принадлежность к литературе получила общественное признание. Зачисление в боевую дружину молодых литераторов — романтиков, насмешников, гонителей «века минувшего» — подвело черту под периодом детства и годами учения. Он почувствовал себя допущенным в круг поэтов общепризнанных.

Глава вторая. Петербург. 1817—1820

В Петербурге Пушкин жил с начала июня 1817 г. (9 июня состоялся выпускной акт Лицея, 11 того же месяца он уже был в Петербурге) по 6 мая 1820 г., когда он выехал по царско-сельской дороге, направляясь в южную ссылку. Планы военной службы, которые Пушкин лелеял в своем воображении, пришлось оставить: отец, опасаясь расходов (служба в гвардии требовала больших трат), настоял на гражданской. Пушкин был зачислен в Коллегию иностранных дел и 13 июня приведен к присяге (в тот же день, что и Кюхельбекер и Грибоедов).

Петербург закружил Пушкина. В широком черном фраке с не скошенными фалдами (такой фрак назывался *à l'américaine*; нарочитая грубость его была верхом щегольской утонченности) и в широкой шляпе *à la bolívar* (поля такой шляпы бывали «так широки, что невозможно было пройти в узкую дверь, не снимая с головы» ее) он спешит вознаградить себя за вынужденное шестилетнее уединение.

Стремление к содружеству, сообществу, братскому единению составляет характерную черту поведения и Пушкина этих лет. Энергия, с которой он связывает себя с различными литературными и дружескими кружками, способна вызвать удивление. Следует отметить одну интересную черту: каждый из кружков, привлекающих внимание Пушкина в эти годы, имеет определенное литературно-политическое лицо, в него входят люди, обстрелянные в литературных спорах или покрытые боевыми шрамами; вкусы и взгляды их уже определились, суждения и цели категоричны. Принадлежность к одному кружку, как правило, исключает участие в другом. Пушкин в их кругу выделяется как ищущий среди нашедших. Дело не только в возрасте, а в глубоко свойственном Пушкину на протяжении всей его жизни — пока еще стихийном — уклонении от всякой односторонности: входя в тот или иной круг, он с такой же легкостью, с какой в лицейской лирике усваивал стили русской поэзии, усваивает господствующий стиль кружка, характер поведения и речи его участников. Но чем блистательнее в том или ином из лицейских стихотворений овладение уже сложившимися стилистическими, жанровыми нормами, тем более в нем проявляется собственно пушкинское. Нечто сходное произошло в 1817–1820 гг. в сфере построения поэтом своей личности. С необычной легкостью усваивая «условия игры», принятые в том или ином кружке, включаясь в стиль дружеского общения, предлагаемый тем или иным из собеседников-наставников, Пушкин не растворяется в чужих характерах и нормах. Он ищет себя.

В Лицее Пушкин, заочно избранный в «Арзамас» и получивший там условное имя «Сверчка», рвался к реальному участию в деятельности этого общества. Однако, когда это желание осуществилось, чисто литературное направление «Арзамаса» в эпоху возникновения Союза Благоденствия стало уже анахронизмом. В феврале — апреле 1817 г. в «Арзамас» вступили Н. Тургенев и М. Орлов, а осенью — Н. Муравьев. Все они были активными членами конспиративных политических групп, все рассматривали литературу не как самостоятельную ценность, а только как средство политической пропаганды. Активизировались к этому времени и политические интересы «старых» арзамасцев: П. А. Вяземского, Д. В. Давыдова. Показательна запись в дневнике Н. И. Тургенева от 29 сентября 1817 г.: «Третьего дня был у нас Арзамас. Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство». На этом заседании, видимо, присутствовал и Пушкин.

«Арзамас» не был готов к политической активности и распался. Однако, видимо, именно здесь Пушкин сблизился с Николаем Тургеневым и Михаилом Орловым, связи с которыми в этот период решительно оттеснили старые литературные привязанности и дружбы. Карамзин, Жуковский, Батюшков — борцы за изящество языка и за «новый слог», герои литературных сражений с «Беседой» — померкли перед проповедниками свободы и гражданских добродетелей.

Особую роль в жизни Пушкина этих лет сыграл Николай Тургенев. Он был на десять лет старше Пушкина. Унаследовав от отца-масона суровые этические принципы и глубокую религиозность, Н. Тургенев сочетал твердый, склонный к доктринерству и сухости ум с самой экзальтированной, хотя и несколько книжной, любовью к России и русскому народу. Борьба с рабством («хамством», как он выражался на своем специфическом политическом лексиконе) была идеей, которую он пронес через всю жизнь. Если его старший брат, Александр, отличался мягкостью характера и либерализм его

выражался, главным образом, в терпимости, готовности принять чужую точку зрения, то Николай Тургенев был нетерпим, требовал от людей бескомпромиссности, в решениях был резок, в разговорах насмешлив и категоричен. Здесь, в квартире Тургенева, Пушкин был постоянным гостем. Политические воззрения Н. Тургенева в эти годы в основном совпадали с настроениями умеренного крыла Союза Благоденствия, в который он вступил во второй половине 1818 г. Освобождения крестьян он надеялся добиться с помощью правительства.

В добрые намерения царя уже не верили. Но члены Союза Благоденствия возлагали надежды на давление со стороны передовой общественности, которому Александр I, хочет он этого или нет, вынужден будет уступить. Для этой цели Союз Благоденствия считал необходимым создать в России общественное мнение, которым бы руководили политические заговорщики через посредство литературы и публицистики. Литературе, таким образом, отводилась подчиненная роль. Чисто художественные проблемы мало волновали Н. Тургенева. В 1819 г. он писал: «Где русский может почерпнуть нужные для сего правила гражданственности? Наша словесность ограничивается донныне почти одною поэзией. Сочинения в прозе не касаются до предметов политики». И далее: «Поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей».

Геттингенец, дипломат и государственный деятель, автор книги по политической экономии, Н. Тургенев смотрел на поэзию несколько свысока, допуская исключение лишь для агитационно-полезной, политической лирики. Эти воззрения он старался внушить и Пушкину.

Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. И если Любовь была как бы знаком этого непрерывного жизненного горения, то Шалость и Лень становились условными обозначениями неподчинения мертвенной дисциплине государственного бюрократизма. Чинному порядку делового Петербурга они противостояли как протест против условных норм приличия и как отказ принимать всерьез весь мир государственных ценностей. Однако одновременно они противостояли и серьезности гражданского пафоса декабристской этики.

Пушкин сделал «поэтическое» поведение нормой для реального. Поэтическая шалость и бытовое «бунтарство» стали обычной чертой его жизненного поведения.

Окружающие Пушкина опекуны и наставники — от Карамзина до Н. Тургенева — не могли понять, что он прокладывает новый и свой путь: с их точки зрения он просто сбивался с пути. Блеск пушкинского таланта ослеплял, и поэты, общественные и культурные деятели старшего поколения считали своим долгом сохранить это дарование для России. Они полагали необходимым направить его по привычному и понятному пути. Непривычное казалось беспутным. Вокруг Пушкина было много доброжелателей и очень мало людей, которые бы его понимали. Пушкин уставал от нравоучений, от того, что его все еще считают мальчиком, и порой всем назло аффектировал мальчишество своего поведения.

Жуковский говорил в Арзамасе: «Сверчок, закопавшись / В щелку проказы, оттуда кричит, как в стихах: я ленюсь...» (показательно убеждение, что «в стихах» дозволено то поведение, которое запрещено в жизни). А. И. Тургенев, по собственным словам, ежедневно бранил Пушкина за «леность и нерадение о собственном образовании».

Постоянно соприкасаясь с участниками тайного общества, Пушкин, конечно, знал о его существовании и явно стремился войти в его круг. То, что он не получал приглашения и даже наталкивался на вежливый, но твердый отпор со стороны столь близких ему людей, как Пущин, конечно, его безмерно уязвляло. Если мы не будем учитывать того, в какой мере он был задет и травмирован, с одной стороны, назойливыми поучениями наставников, с другой — недоверием друзей, для нас останется загадкой лихорадочная нервозность, напряженность, характерные для душевного состояния Пушкина этих лет. Они выражаются, например, в том, что он в любую минуту ожидает обид и постоянно готов ответить на них вызовом на дуэль. Летом 1817 г. он по ничтожному поводу вызвал на дуэль старика дядю С. И. Ганнибала, вызывал на поединок Н. Тургенева,

однокурсника по Лицею М. Корфа, майора Денисовича и, видимо, многих других. Е. А. Карамзина писала брату, Вяземскому: «...у г. Пушкина всякий день дуэли; слава Богу, не смертоносные...». Не все дуэли удавалось уладить, не доводя дела до «поля чести»: осенью 1819 г. Пушкин стрелялся с Кюхельбекером (по вызову последнего), оба выстрелили в воздух (дело кончилось дружеским примирением). Позднее он признавался Ф. Н. Лугинину, что в Петербурге имел серьезную дуэль (есть предположение, что противником его был Рылеев).

В этот период душевной смуты спасительным для Пушкина оказалось сближение с П. Я. Чаадаевым. Многочисленные свидетельства современников подтверждают обаяние Пушкина, его одаренность в дружбе и талантливость в любви. Но он умел возбуждать и ненависть, и у него всегда были враги. В Петербурге 1819–1820 гг. нашлось достаточно людей, добровольно доносивших правительству о стихах, словах и выходках Пушкина. Особенно усердствовал В. Н. Карамзин — беспокойный и завистливый человек, одержимый честолюбием. Чужая слава вызывала у него искреннее страдание. Доносы его, доведенные до сведения Александра I, были тем более ядовиты, что Пушкин представал в них личным оскорбителем царя, а мнительный и злопамятный Александр мог простить самые смелые мысли, но никогда не прощал и не забывал личных обид.

19 апреля 1820 г. Н. М. Карамзин писал Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменем Либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала Полиция etc. Опасаются следствий».

В то время, когда решалась судьба Пушкина и друзья хлопотали за поэта перед императором, по Петербургу поползла гнусная сплетня о том, что поэт был секретно, по приказанию правительства, высечен. Распустил ее известный авантюрист, бретер, картежник Ф. И. Толстой («Американец»). Пушкин не знал источника клеветы и был совершенно потрясен, считая себя бесповоротно опозоренным, а жизнь свою — уничтоженной. Не зная, на что решиться, — покончить ли с собой или убить императора как косвенного виновника сплетни, — он бросился к Чаадаеву. Здесь он нашел успокоение: Чаадаев доказал ему, что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей.

Хлопоты Карамзина, Чаадаева, Ф. Глинки несколько облегчили участь Пушкина: ни Сибирь, ни Соловки не стали местом его ссылки. 6 мая 1820 г. он выехал из Петербурга на юг с назначением в канцелярию генерал-лейтенанта И. Н. Инзова.